

В. А. ЖУКОВСКИЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ**

ТОМ ВОСЬМОЙ

**ПРОЗА
1797—1806 годов**



УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
Ж 86

Томский государственный университет



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 11-04-16034

Жуковский В. А.

Ж 86 Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, Э. М. Жиякова, **Ф. З. Канунова**, О. Б. Лебедева, И. А. Поплавская, Н. Б. Реморова, А. С. Янушкевич (гл. редактор). — Т. 8. Проза 1797—1806 гг. / Ред. И. А. Айзикова. — М.: Языки славянских культур, 2011. — 536 с.

ISBN 978-5-9551-0501-7

Полное собрание сочинений В. А. Жуковского впервые в эдиционной практике представляет наследие великого русского поэта в максимально полном на сегодняшний день объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического осмысления всех известных автографов поэта и прижизненных публикаций.

В 8-м томе собрана ранняя проза Жуковского (1797—1806 гг.), включающая оригинальные ученические упражнения писателя и его первые прозаические переводы, в том числе и незавершенные, ранее никогда не публиковавшиеся.

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

*На фронтисписе:
В. А. Жуковский. Литография неизвестного художника
с гравюры И. Ческого, выполненной по оригиналу К. Зенфа.
Середина XIX века (?)*

ISBN 978-5-9551-0501-7



9 785955 105017 >

© И. А. Айзикова. Редакция тома 8, 2011
© Языки славянских культур, оригинал-макет, 2011

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

МЫСЛИ ПРИ ГРОБНИЦЕ

Уже ночь раскинула покров свой, и сребристая луна явилась в тихом своем велелепии. Морфей помавает маковою ветвию, и сон с целебною чашею ниспускается на землю. Все тихо, все молчит в пространной области творения; не слышно работы кузнечика, и трели соловья не раздаются уже по роще. Спит ратай, спит вол, верный товарищ трудов его, спит вся натура. Один я не могу сомкнуть глаз своих, одному мне чуждо всеобщее успокоение. Встану и пойду... Как величественно это небо, распростертое над нами шатром и украшенное мириадами звезд! А луна?.. Как приятно на нее смотреть! Бледно-мерцающий свет ее производит в душе какое-то сладкое упоение и настраивает ее к задумчивости... Везде царствует тишина, только там — вдали — шепчет дремлющий ручеек, и едва, едва слышно колебание листьев. «Прекрасно, прекрасно!» — говорил я с восхищением и нечувствительно приблизился к озеру, окруженному древними дубами, коих вершины изображались в тихой и спокойной поверхности вод, как в чистом зеркале. Смотрю на них с почтением, иду вперед, и взору моему представляется полуразвалившаяся гробница. Седой мох покрывает ее; гнезда хищных птиц находятся в ее трещинах; эмблема смерти — череп — иссечен сверху, и еще приметны некоторые остатки изглаженной надписи. При сем виде я содрогнулся, трепет объял мое сердце. Но мало-помалу бодрость моя возвратилась, страх исчез, некоторая томность овладела мною, и мысль за мыслию теснились в душе моей. Живо почувствовал я тут ничтожность всего подлунного, и вселенная представилась мне гробом.

«Смерть, лютая смерть! — сказал я, прислонившись к иссохшему дубу, — когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей и когда, когда престанешь ты посекать все живущее, как злаки дубравные? Ты неумолима; закон твой неприменим; ничто не избежит ударов твоих; ничто не подвигнет тебя на жалость. Там вижу я прекрасного отрока, подобного едва распустившейся розе; здесь лепообразного¹, сановитого юношу, гордящегося превосходными дарованиями своими. Нежные родители не могут насмотреться на них, не могут нарадоваться; ими дышат, ими живут, и надежда, что они будут некогда славою своего рода, украшением своего времени, восхищает чадолюбивое их сердце. Тщетная надежда! Один мах косы твоей — и их нет.

Стон и вопль раздаются, но ты не внимлешь и спешишь к новым жертвам. Спешишь — и муж добродетельный, коего вся жизнь посвящена благотворению, коего пример есть светильник, вверху горы стоящий, муж, достойный жить целый век, колеблется, падает, и еще раз взглянув глазами любви на оставляемый им мир, закрывает их навеки. Спешишь — и столетний старец, беспечно вчера игравши с милыми праправнучатами, сегодня впоследние² прижимает их к холодной груди своей, и сердце его перестает биться. Ты спешишь далее, смерть грозная, и все — от хижины до чертогов, от плуга до скипетра — все гибнет под сокрушительными ударами косы твоей. И я, и я буду некогда жертвою ненасытной твоей алчности! И кто знает, как скоро? Завтра взойдет солнце — и, может быть, глаза мои, сомкнутые холодною твоею рукою, не увидят его. Оно взойдет еще — и ветры прах мой развеют...»

Тут глубокое смущение объяло мой дух, и грудь моя поколебалась от вздохов. «Но почто смущаться сею мыслию? — сказал я потом, — разве нет оплота против ужасов смерти? Взгляни на сей лазоревый свод: там обитель мира; там царство истины; там Отец любви. Смерть есть путь в сию вечно блаженную страну. Кто не угнетал слабых, кто не притеснял невинных и на кого горькая слеза сироты не вопияла на небо, кто всех любил, как братьев своих, всем по возможности старался делать добро, тому нечего бояться. Смерть для него будет торжество, а гроб — лестница к небу. Но вы, злодеи! Трепещите...» — Тут глаза мои устремились к гробнице. «Скажи мне, — воскликнул я, — чей прах вмещаешь ты? Чьи кости в тебе почивают? Друг ли человечества спит здесь сном беспробудным или изверг естества, притеснитель себе подобных? Скажи: да омочу тление сие слезою чувствительности, или да изреку...»

При слове сем вдруг вспорхнула из гробницы вещая сова, и стоном своим возмутила царствовавшую окрест тишину. Кровь во мне волновалась; голова отяжелела; я почувствовал некоторую слабость, я медленными шагами, с растроганным сердцем, возвратился в сельскую свою кущу.

МИР И ВОЙНА

Зазвучали оружия брани; засверкали острые мечи; знамена гордо развеваются в воздухе, и пернатые шлемы осеняют главы ратников. Соединившись в единое ополчение, с нетерпеливостью ожидают они знака к сражению. Раздается глас трубный — и, подобно молнии, летят они на врагов своих; кровь брызжет под ударами; меч, рассекая воздух, с свистом упадет на крепкую броню; она зыблется, и багровая кровь струится по блестящей стали. Стон пораженных, мешаясь со звуком оружия, раздается в долине, и земля дрожит под тяжкими стонами противоборцев.

Пламя войны! Все пожирает, ничто не сокроется от ужасного бича брани; там пылает дом беззащитной вдовицы и подавляет ее своим падением; там стонет сирота, лишенный родителей, — тщетно слабое дитя простирает невинные свои руки, дабы испросить себе пощады; убийца, жаждущий крови, не смягчается и с свирепством поражает свою жертву. Заструилась кровь из груди младенца, последний вздох излетает из сердца его, и бледность смерти покрывает его чело. Тщетно почтенный старец дрожащими стопами хочет сокрыться от ярости ожесточенного ратника, изверг настигает его и, невзирая на седины старца, вонзает дымящийся кровью меч в трепещущее его сердце — он падает, и смертный холод объемлет его чувства. Ужас крылом своим покрывает поле брани, и все окрестные места трепещут от военных громов — всюду отчаяние и горечь поселились, и радость отвратила блестящий взор свой.

Поспеши, благодетельный мир, поспеши утешить вражду человеческов, осени крылом твоим ратующих братий и излей бальзамический сок твой в сердца, возженные пламенем войны.

Он нисходит, и светлая струя радости пробежала в сердца, горевшие злобою. Ратники, за час прежде сего яростно сражавшиеся и без жалости убивавшие друг друга, те самые ратники с дружелюбием объемлются — меч не блистает более в их руках, и кровь не кипит уже на светлой стали; все утихло, и радость, окруженная лучами, явилась посреди воинства.

Супруги в объятиях семейств своих вкушают неизреченные радости; сын на коленях объемлет руку седовласого родителя и с геройскою улыбкою полагает к стопам его залогом своего мужества. Теплые слезы текут из очей старца и орошают румяные щеки юноши, гордящегося таковым торжеством.

Все радуется, все восхищается.

Воинство вступает во град, где милосердный монарх, нежный отец своего народа и тщательно устрояющий блаженство своих подданных, с милостию приемлет детей своих и вкупе с ними наслаждается плодами тишины.

Продлился, вожделенный мир, продлился между людей; под тихим покровом твоим блаженство их не поколеблется, и они в тишине будут наслаждаться благами жизни и дарами своего Творца.

ЖИЗНЬ И ИСТОЧНИК

Солнце торжественно появлялось на горизонте, и заря, предшествуя ему, покрывала румянцем вершины гор; природа скинула тихий покров ночи, и день на крыльях зефиров взлетел на лазурный свод неба.

Морфей отлетает в царство теней, и сны, подобно рою пчел, последуют за ним. Природа пробуждается; блестящий царь светил, восседая на лучезарной колеснице, сеет животворные лучи на поверхность шара; тихая роса блестит и мало-помалу исчезает на листьях деревьев, и жаворонок, стремясь в высоту синего неба, первым гимном поздравляет пробуждающуюся природу.

Сию на возвышенном холме, венчающем пестрый луг; светлый кристалл ручейка оmyвает подошву пригорка и оставляет перлы на траве. Его журчанье трогает мое сердце; голос соловья, тихо пробираясь сквозь священный дубовый лес, куда луч солнца не дерзает проникнуть, мешается с гармониею потока, и эхо далеко его повторяет. Здесь, под навислыми утесами, в молчании дремлет море, и его волны, величественно протекая неизмеримое пространство, разбиваются о камни. Источник, который там, под нежными сводами душистых цветов, скромно извивался через луг, вдруг по голому, неровному утесу, кипя, низвергается в море, и струи его пропадают там так, как часы в вечности.

«Разительная картина жизни!» — сказала мое сердце, и флеровая мантия меланхолии покрыла мои чувства; воображение на быстрых крыльях переносило меня из одной мысли в другую, и полет его не находил пределов.

«Скоро пролетают дни наши, — думал я, — особливо дни счастья; долго текут часы несчастий, и их течение оставляет глубокие черты в нашем сердце.

Человек, вышед из утробы матери, бывает чист и непорочен; зло не дерзает осквернить его своим прикосновением, и страсти спят в его душе — но это только младенец, он ничего не знает, ничто не может его

тронуть, самая добродетель не имеет прелестей в глазах его; жизнь его подобна тому месту, откуда вытекает ручей, подобна заре. Ах! Солнце не взошло еще; может быть, облака его закроют...

Из младенчества переступает человек на стезю юности, и течение жизни его уподобляется тогда струям ручья, журчащего уже среди цветов; но камушки препинают путь его, так как страсти иногда совращают юношу с истинного пути. Если ж благодетельная рука исторгнет сии камни из волн источника, то бег его становится прозрачен и чист. Если мудрый наставник гласом истины извлечет из неопытного сердца юноши жало страстей, то дни его просветятся и солнце благоразумия рассеет туман заблуждения. Счастлив тот юноша, который в златое время своей непорочности насаждает в своем сердце семя добродетели; оно пустит корни и превратится в дерево.

Теперь источник жизни нашей становится быстрее, он течет по голому утесу, совратясь с благовонных лугов, и с шумом низвергается в море. Человек приходит в мужеские лета, и если семя добродетели не пустило корней своих в его сердце, если порок прежде времени вырвал его оттуда, то — несчастный! — море заблуждений, море несчастий его поглощает, и ничто не в силах его оттоле исторгнуть; он бьется между валов его и, думая достигнуть берегов, только что от них удаляется. О человек! Для чего ты не следуешь добродетели?

Наконец приближается старость, и он погибает в пучине. Тиха старость праведника, солнце чистой совести оживляет ее своими лучами; оно закатится лишь тогда, когда поцелуй смерти похитит его жизнь.

Порочный! Какая была цель твоя? Вдали пред тобою синелся океан бедствий, и ты не задрожал — тогда только, когда увидел ты бегущую к тебе смерть, тогда ты почувствовал ужас. Для чего не страшился ты пороков? Они ужаснее смерти. Для чего позволил ты развращенно исторгнуть семя добродетели из твоего сердца? Для чего не дал ты ему превратиться в дерево? Ты бы умер — заснул под его тенью».

Смертный! Берегись совращаться с истинного пути, иначе ты, подобно источнику, будешь поглощен неизмеримым морем несчастий.

РЕЧЬ НА АКТЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ, 14 НОЯБРЯ 1798 г.

Любезные товарищи! Никогда еще не посещали сердца нашего толь сладкие чувства, как в сии достопамятные для нас минуты. Заслужить отличие в благонравии, в стремлении к добру, к просвещению, заслужить право первенства между вами, право, утвержденное собственным

признанием беспристрастных, невинных сердец ваших — не есть ли восхитительно, неоценённо? Заслужить!.. Нет, любезные товарищи! Мы не заслужили толь лестного преимущества. Самая сия радость, самое сие восхищение, которое вы читаете теперь в глазах наших, не есть ли уже слабость, малодушие? Так, мы недостойны толь отличной оказанной нам чести. Многие из вас имеют, может быть, гораздо более права на то первенство, коим вы нас почтили по одному снисхождению, по одной своей к нам любви. Не мы вас, вы сами себя победили; и поднесенный вами венок другим приличнее бы мог украшать вас самих. Мы слабы, неопытны, часто претываемся и падаем. Способности наши очень ограничены, достоинства малозначащи, поступки не так чисты и неукоризненны, чтобы можно было поставить их в образец подражания; и если есть в нас что-нибудь доброе, то, может быть, единая готовность сделаться некогда прямо добрыми. Вот все наши преимущества; вот единственное наше право на то драгоценное для нас первенство, коим вы нас почтили. Друзья любезные! При подножии сих священных для нас изображений*, поставленных здесь пламенною нашею благодарностью, еще дерзаем мы повторить торжественный обет свой, что употребим все силы, да семя добра, лежащее в груди нашей, произрастит спасительные плоды свои; и тем потщимся доказать, сколь высоко ценим мы снисходительное ваше о себе мнение и сколь признательность наша чистосердечна. Счастливы, счастливы будем, если предохраним кого-нибудь из вас хотя от одного дурного поступка, влекущего за собою горькие следствия; если умножим хотя одним зерном его познания; если приблизим его, хотя на один шаг, к добродетели.

Священная добродетель! Не ты ли основание прямого нашего счастья? Не ты ли блюститель нашего спокойствия? Не ты ли тот чистый, неиссякаемый источник, из коего почерпаем мы все истинные свои наслаждения, все радости, восторги, удовольствия? И блажен тот, кто исполняет священные твои уставы! Блажен тот, кто воинствует под победительным знаменем твоим! Блажен! Ибо никакие сопротивные силы не поколеблют его, никакие бедствия и страдания не одолеют. Душа его светла и безмятежна, как покоящаяся при вечере нива. Любезные товарищи! Мы все ищем пути к счастью: он в добродетели. Я знаю вас: вокруг сердца вашего обращается кровь благородная — и вы не можете не разуместь меня; а сие ваше внимание, сии неподвижные взоры ваши, на меня устремленные, не показывают ли ясно, что вы жаждете заняться со мною, несколько минут, сим драгоценным для

* Здесь разумеются портреты гг. кураторов.

всех нас предметом. Повинуюсь — и слабою, дрожащею кистью изображу вам некоторые черты добродетели, уверен будучи, что сия картина детской руки моей не останется без действия.

Посмотрите на сего благодетеля человечества, посмотрите: как толпятся вокруг его несчастные, как устремляют на него слезящее око благодарности, как расцветает веселием томное чело их! Это бедные, не имевшие пристанища и получившие покров от благодетельной руки его. Посмотрите: как взоры его чисты, божественны! На ланите блещит слеза восхищения; в душе царствует мир и тишина. Он есть благодетельное некое существо, обитающее не в рукотворном храме, но в скинии сердец обязанных. Здесь, в сем святилище, поставлен ему алтарь, на коем курится чистая, неугасаемая жертва благодарности, алтарь, которого рука времени не сокрушит и падение земли не поколеблет!.. Чистая, непорочная весть друга человечества будет щитом против ударов ожесточенного рока и украшением во дни счастья. Сон его есть сон праведника, и хотя камень служил ему возглавием, хотя колючий терн был ему одром, тогда бы во всякой ране его тела блистала роса душевного здоровья.

Посмотрите на сего бедного, лишенного одежды, пищи, пристанища, но богатого добрым сердцем, посмотрите, с какою твердостью покоряется он определениям судьбы! Сердце его покойно — подобно ясному солнечному дню, когда ни одно облачко не плавает в лазури неба. Под соломенным кровом своей хижины находит он то счастье, коего вельможа ищет в своих чертогах, и не обретает. Кусок хлеба, который достает он в поте лица своего, сластнее для него роскоши пищи сластолюбца. Сколь часто, с душевным умилением, преклонив колено, устремляет он взоры туда, где царствует вечная любовь и говорит: «Я беден, я несчастен; Ты благ, Отец небесный! Ты не оставишь меня — и наградишь мое терпение». Так говорит он, и пламенная слеза, катящаяся из сердца его, не упадет на землю, но, проникнет небеса, принесется в жертву Живущему в них. Добродетельный человек тверд в несчастии, непоколебим в напастьях и терпеливо, без ропота, проводит бедственную жизнь свою... Но можно назвать бедственной такую жизнь? Пускай напыщенный богач ступает по златошвейным коврам персидским! Пускай стены чертогов его сияют в злате: злато сие, многоценные исткания сии — они помрачены вздохом угнетенного, кровию измученного раба... Нет, с чистым сердцем, с тихою совестью, предпочту я сенистый лес мраморному дворцу, где всякий камень, представляющийся глазам моим, возмутит мою душу, где неумолимое раскаяние, с бледным лицом, с тусклым взором, будет следовать по стопам моим... В мирном убежище простоты и невинности, в тишине лесов,

с подругою души своей, добродетелью, сооружу я из согбенных ветвей чертог свой, и мягкий дерн будет моим престолом.

Посмотрите далее на сего невинно заключенного узника. Мрак темницы его объемлет, но светильник добродетели ярко сияет в глубине души его. Клочок соломы служит ему горестным одром!.. И тяжкие оковы обременяют его руки. Но взгляните на лицо его: какая небесная радость, какое величие! Душа его спокойна, и сердце дремлет под щитом совести. Он радуется, что скоро достигнет цели жизненного своего странствия; что скоро душа его, оставив брENNую скинию тела, на легких крыльях будет протекать небесные сферы, будет пленяться восхитительною, неведомою для смертного слуха, гармониею блаженных небожителей. Каждый звук цепей напоминает ему течение минут, приближение торжества. Сердце его пламенеет, душа исполняется умиления, и он, в восторге, целует бременящие его узы. Когда ж представит ему смерть и благодетельною рукою отверзет врата вечности, когда расторгнет покрывающую глаза его завесу и укажет подлежащую ему судьбу, тогда, с восторгом праведника, бросив во прах брENNое свое покрывало, в объятиях ее, устремится он туда, в оные вечноцветущие поля, где нет ни зависти, ни злобы, ни мщЕНИЯ и где царствует единая присноживая любовь.

Посмотрите на сего доброго, честного поселянина, окруженного многочисленным семейством. Как он доволен! Желания его умеренны, и счастье обитает в его хижине. С пришествием дня выходит он на делание свое, и с бодростию, с удовольствием принимается за работу. Когда ж силы его начнут слабеть и востребуют подкрепления, он возвращается домой; жена и дети встречают его и с нежностию приемлют в свои объятия. Умеренный обед, приправленный дружеством и любовию, утоляет его голод; после краткого отдохновения снова принимается он за работу и престаает трудиться тогда, когда солнце престает освещать землю. Ночь наступает, сон его тих и кроток, и совесть, молчащая в душе его, засыпает с ним вместе. Так проходит его день, так пройдет и жизнь его. Время рукою своею убелит власы его и покроет чело морщинами. Смерть, сия предвестница его блаженства, тихими шагами приблизится к нему, и он с улыбкою непорочности бросится в ее объятия.

Посмотрите на сего героя, на сего бранного витязя. Преданность к государю, ревность к службе, любовь к славе пламенеют в груди его. Отечество вызывает к нему: «Спаси меня!» И он летит на поле брани; обнажит меч — и неодолимые силы валятся. Гром умолк, молния потухла, победа приносит свои лавры, но кого увенчает она? Где герой наш? Он здесь, любезные товарищи, на сих развалинах, на сих кучах пепельных, на сих дымящихся кровью телах; он здесь и проливает слезы. Да будет

благословенно имя твое, витязь бранный! Сердце твое отверсто состраданию, ты скорбишь о человечестве, ты любишь добродетель...

Но кто изочтет лучи солнца и кто исчислит красоты добродетели, кто исчислит спасительные ее действия? О, священная добродетель!

Сияешь ты в вертепах темных,
И в самых пропастях подземных,
Всегда светла, мила, чиста.
Тебя везде сопровождают
Надежда, радость и покой;
Вселенну громы поражают,
Но всюду благодать с тобой.
Ты носишь в сердце вечну радость,
Твоя стихия — мир и сладость.
Блаженна жизнь, блажен твой сон.
Сады сретаешь в дебрях райски,
Зимою дни вкушаешь майски:
Твой манна хлеб, твой холмик трон...

Да будет трон ее и в сердцах наших, любезные товарищи! Что просвещение без добродетели? Медь звенящая, кимвал бряцающий, нечистый, заразительный источник. Просвещение и добродетель! Соединим их неразрывным союзом; да царствуют оне совокупно в душах наших. К сему должны стремиться все мысли и дела наши. Сего ожидает от нас отечество, ожидают благотворные наши попечители, которые в награду за всю свою к нам нежность, за всю любовь, за все труды, о нас прилагаемые, ничего больше не желают, как только видеть нас просвещенными, добрыми и прямо счастливыми. Бесчисленные к нам их благодеяния, но дела их, но добродетельный пример их есть то, что мы драгоценнейшего от них получили.

Возрите на сии изображения. Се лик Шувалова! Грозная судьба похитила его от нас¹, но сердце еще бьется в груди нашей, и Шувалов там живет. Друг человечества! Ты достоин венка бессмертия, и грядущие, отдаленные веки с благоговением повторят имя твое. Се образ Мелиссино!² Любезные товарищи! Почто не можем мы повергнуться на гроб его, на сие вместилище драгоценного для нас праха! Почто не можем окропить его своими слезами! От них возросли бы на нем цветы и благоуханием своим возвестили бы страннику: «Здесь почует покровитель наук». Шувалов! Мелиссино! Тени ваши, может быть, носятся теперь над нами и улыбаются, видя любовь нашу. Божественная улыбка! Она побуждает нас следовать по стопам вашим,

и если можно, вам уподобиться. Тени священные! Покойтесь в селениях праведных; мы не возмутим тишины вашей уклонением от пути добродетели.

Херасков, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благотворного места⁴, воспитанию благородных юношей посвященного, Херасков с досточтимыми своими сотрудниками нас руководствует.

Питомцы толь знаменитых мужей! Потщимся заблаговременно пользоваться благодетельными поучениями, из уст наставников наших текущими. Время летит, и семена мудрости и добродетели, насажденные во дни юности в умах и сердцах наших, возрастут в древо великое, коего плоды будем мы собирать и в самой вечности.

ПОЛНЫЕ СОЧИНЕНИЯ Г. ЛЕОНАРДА, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ ВИНЦЕНТОМ КАМПЕНОНОМ В 3 Т., ПАРИЖ, 1798

(Из «Spectateur du Nord»)

*Сие собрание сочинений Леонардовых слишком полно. Когда б сего не было, то, конечно, было бы оно лучше. В сокращении его, вышедшем недавно в одном парижском журнале, называемом «Декада» («La Décade»), нахожу я собственные свои мысли и правила касательно до рода поэзии, в котором Леонард наиболее успеш; также и мое мнение о достоинствах и недостатках этого собрания. Итак, я сие сокращение употребляю и для себя, переправив несколько его в слоге, выбросив или переменяв в нем повелительные фразы, неприличные обороты, худые выражения, обезображивающие пиесу, впрочем очень изрядную. Я не могу решиться сказать насчет какого-нибудь рода поэзии. *Ce genre place sur les bords d'un double esueil*, или говоря о богатстве (или великолепии), нужном для прозы в поэтических местах: *la richesse, que la prose doit revetir* и пр. и пр. Ясность, чистота, справедливость — вот чего рассудок и вкус ищут прежде всего в стиле. В такое время, когда сии свойства становятся очень редки, не должно, чтоб они были пренебрежены журналистами, которые, как авторы «Декады», занимаются некоторого рода цензурою литературных новостей своего отечества.*

Леонард, которого полные сочинения собраны и изданы Винцентом Кампеноном¹, заслужил и получил почтенное место между писателями нашего века. Посвятив хорошие способности свои приятному и кроткому роду пастушеской поэзии, не мог он приобрести той славы, которая идет вслед за успехами, а нередко и за простыми опытами в блистательнейших родах литературы. Чтоб хорошо чувствовать автора *идиллий*, должно весьма любить стихи и натуру; — два вкуса, которыми всяк хвалится, но редко кто их имеет.

Однако ж *идиллия*, будучи не так кротка, как *эклога*, терпит некоторое, но только лишь сельское украшение. Венок из натуральных цветков — вот вся пышность, которую она присвоивать может! Пространство, которое протекать ей позволяется в великой области натуры, физической ли то или моральной, очень ограничено. Она может изображать ясность неба, но не великолепие; волнение души, но не расстройство;

может только представить кроткое движение некоторых страстей, но не бурю их; хитрость любви, но не коварство. Сей род поэзии, в котором равномерно должно бояться и слишком унизить, и слишком возвысить тон, будучи ограничен малым числом картин и идей, не имея давно аналогии с нашими слишком непастушескими нравами, более представляет опасностей, чем средств к их преодолению. От Феокрита до Фонтенеля (двух камней преткновения в сем роде) идиллии представляли картины, различествующие только красками друг от друга. К тому ж всегда найдешь в них или двух пастухов, попеременно спорящих о преимуществе в пении, или верную собаку, или хищного волка, или жестокость бесчеловечной, жалобное эхо, журчание ручья. Изображение сих предметов, выражение чувств своих произвели неподражаемые творения. Особливо вдохнули они Вергилию стихи, коих неизъяснимая приятность всегда будет восхитительным наслаждением вкуса и чувствительности. Но, признаться, ослабленное повторение одних и тех же картин, одних и тех же мыслей не может иметь одинакового права на почтение и любопытство читателей, уже пресыщенных.

Любовь, превращенная в волокитство во французских идиллиях и в кокетство в итальянских, не может более быть достаточна для такого рода поэзии, в котором она совершенно господствует. Должно бы найти другие пружины, которые бы могли это поднять и поддержать; должно дать чувства, не столь подделанные в их выражении; и наконец, не оставляя привлекательной сцены полей и не переменяя действующих лиц, которыми могут быть только те, которые средь их обитают и их обрабатывают, должно дать им роли совсем отменные от роли любовников, которою их без пощады изнурили.

Немецкий язык и швейцарские нравы могут хвалиться честью такой перемены. *Геснер* произвел сие в действо². Благодаря ему, ручейки у берегов своих, источники у своих кристаллов, луга на пестрой мураве своей и пещеры на мшистых коврах своих увидели отцов и детей, братьев и сестер, стариков и младенцев, — и картины семейств изобразились в рамках природы.

Скоро это счастливое изобретение получило своих подражателей — и Леонард, и Беркен³ преимущественно отличились. Я должен говорить о первом.

В идиллиях своих держался он и древних, и новых образцов. Подражал ли он, или описывал, переводил ли, или изобретал, однако ж многократно употребленные до излишества выражения пастушеской любви были для него удобнее, нежели выражения различных чувств, почерпнутых в простой, не столь истощенной натуре. Сколь трогательны слезы чувствительного младенчества в идиллии, называемой

«Жертвоприношение» и имеющей действующими лицами детей, брата и сестру, когда они молят богов об умирающем отце! Как приятна картина цветов и росы, их окропляющей!

«Миртил, дитя нежное, увидел на заре младшую из сестер своих: Хлоя печально собирала цветки, и срывая их, мешала слезы свои со слезами утра».

Какая любезная невинность в сем извинении Хлои пред богом Паном!

«Ты видишь, у меня одна только гирлянда. И ее повешу у колен твоих; я бы ею украсила твою голову, когда б выросла повыше».

Теперь не худо, кажется, уведомить тех, которые посвящают себя какому бы то ни было роду поэзии, чтоб они не повторяли мыслей, ими прежде употребленных, даже не изображали бы одних и тех же картин. Уже, если я не ошибаюсь, действие этих детей и самые их выражения потеряли свою приятность и, так сказать, свежесть по причине премногих им подражаний. Таким образом самые приятные картины становятся скучны и обыкновенны. Молодые поэты должны часто вспоминать о несчастной судьбе *розовых перстов Аворфы*.

«Великодушное дитя» — также прекрасная идиллия в подобном же роде. В ней хвалится ребенок тем маленьким добром, которое он сделал. Но невинность лет его, полнота юного его сердца, не могущего удержать в себе удовольствия от доброго дела, столь его извиняют, что этот предмет, который бы был предосудителен, когда б кто другой был на сцене, становится приятным по причине трогательного чистосердечия молодого Мизиса.

Под именем *идиллии*, которое здесь не так прилично, как имя *элегии*, с удовольствием будут читать маленькую поэму «*Уединение*». Вообще здесь найдут более поэзии и более жару, не столь обыкновенного в Леонардовых сочинениях. Правда, что он тут много себе помог подражанием Проперцию и Горацию, но он их, так сказать, присвоил, искусно и с успехом подобрал к тому, что собственно ему принадлежит. Пламенная любовь изображается тут в поэзии совершенной и исполненной гармонии. Сие сочинение заставляет думать, что автор его мог бы иметь отличное место между поэтами в роде элегии. Но кажется, что он того не искал, и страстные предметы, которыми, судя по сему примеру, мог бы он с успехом заниматься, редко встречаются в собрании его стихотворений.

Способности его имели в себе гибкость. Между многими пиесами в приятном роде, которые стоят быть предпочтены, одна, под названием «*Купанье*», показалась мне лучшею. Любовные доверенности двух пастушек во время купанья и стыдливый страх, чтоб их не приметил кто в

сем положении, возмущающем скромность, суть два контраста, столь же хорошо употребленные в пользу, как и приятно выраженные. Окончание прекрасно:

«Пастушки бежали подобно двум горлицам, за которыми алчный ястреб гонится в высоте воздуха; но то была только юная лань, столь же робкая, как и они, привлеченная под зеленые тени у ручейка».

Несколько отрывков не будет довольно для того, чтоб дать читателям справедливое понятие о способностях и искусстве автора, которого желаем с ними познакомить

Хотя здесь по большей части не что иное будет, как перепечатывание одних и тех же, уже известных и имеющих свою цену идиллий; но как это очень возможно, что еще не известны многим, то не худо, если их приведем в состояние судить о целой пиесе. Та, которую я для сего выбрал, не велика; и я думаю, что всякий из читателей, нашедших ее в издании 1787 года (на французском языке), не оставит, чтоб не прочесть и в другой раз:

ДВА РУЧЬЯ⁴

Дафнис, лишенный своей любезной, рассказывал сию трогательную баснь тем, которые осуждали его горесть. Два ручья, соединив струи свои, текли очень спокойно по лугу, усеянному цветами. По *одной* они струились пустыне: *один* скат их соединял, и они желали вместе погрузиться в недро моря. Ах, должно ли, чтоб жестокая судьба воспротивилась нежной любви! Сии источники встречаются на пути своем ужасный утес, который их разделяет. Один из них в несчастии своем ударялся о берега свои, и эхо в долинах отвечало жалобному его стенанию. Прохожий сказал ему с досадою: «Для чего не журчать тебе на мягком песку тихонько? Шум твой мне мешает и наводит скуку». «Разве ты не слышишь там, за холмом, стенания половины самого меня? Иди в путь твой, путешественник! И проси богов о том, чтоб сердце твое не лишилось того, что ему любезно».

Не все пиесы, составляющие идиллии Леонардовы, имеют такое совершенство; но вообще отличаются они приятностию, чувствительностию и наиболее точным приличием слога предмету. Сочинения его не обезображены усильными натяжками идей и слога, ни удалением от того, что истинно в первых и просто в последнем, — порок, господствовавший в то время, когда писал Леонард. Должно отдать ему должную похвалу за то, что он сего избежал. Нет ничего в свете холоднее и глупее ложного жару и надутости, когда можно занять и даже пленить и тронуть, дав идеям своим и их выражению посредственную степень жару,

если не будет во внутренности нашей полного пламени. Очень мало в сочинениях Леонарда ошибок, которые бы могли подпасть критике сей; а выше сего видно было, что она может в них найти истинные красы.

Я говорил только об идиллиях, для того что они составляют важнейшую и отличнейшую часть в сем собрании, состоящем из трех томов, в которых они, однако ж, мало занимают места. Винцент Кампенон в сем издании последовал роковому обычаю собирать без разбору после смерти автора, каков бы он ни был, все, что ни произошло от его пера. Ничто столь не сходствует с погребальными почестями, как это; и можно сказать, что того автора погребают, которому таким образом воздвигают истинный памятник. Это совершенно ложная набожность. Погребать должно тело, но разум избавлять от погребения. Можно увидеть такое намерение в тех легких собраниях *лучших произведений* поэтов древности, отделенных от всего того, что не заслуживает сего титла, и можно сказать, что трогательная формула погребения древних: *Sit tibi terra levis*, была для издателей их правилом вкуса. В самой вещи, кажется, ничего бы не было лучше и приличнее со стороны издателя, человека беспристрастного и со вкусом, как когда б он сделал выбор из выбора самого автора. Конечно, самолюбие ослепляет чаще, нежели просвещает; и если оно сделало выбор, то, верно, должно еще и из того сделать новый. Но мы совершенно делаем противное. Лучший друг или лучший родственник автора не упустит забрать его бумаги, и почти всегда выбор его состоит из всего, что только тот написал. Все равно, что подбирать стружки, отделенные скоблем, для составления из того какой-нибудь материи. Я сделал выговор сей общим потому, что злоупотребление стало общее. Издатель Леонардовых сочинений сделал ни больше, ни меньше, как и другие. Если б он не был увлечен примером, то бы никто не был более его в состоянии отделить со вкусом худое от хорошего так, как то всегда должно делать. К тому ж он имел на то более права, нежели кто другой; ибо мы имеем от него многие очень хорошие стихотворения в одном роде с тем, в котором Леонард наиболее отличился. Как не почувствовал он, что, вместо чтоб прославить, может он замарать славу поэта, оставив в творениях его трагедию Эдипа, в которой можно найти следующие стихи:

Je veux fuir ce palais — - — qu'on m'en
Ouvre la porte!
Au nom des Dieux, ouvrez! Et que le crime
Forte!..
(Я хочу бежать из сих чертогов:
...Да отворят мне двери!..

Отворите, ради богов! Отворите,
...Да изыдет отселе преступление!)

Не прилично кажется делать извлечения такого рода, хотя бы то было не трудно. Издатель поступил не совсем богобоязненно, оставив четыре мужеские рифмы сряду.

В молодости, при первом открытии способностей, когда еще не знаем, на что их обратить, бывает часто, что хватаемся за все. Редко случается, чтоб проходило без трагедии. Но таковые отрывки должны остаться неизвестными публике... Горе, если ей их откроют!

On connait des grands vers les disgraces
Tragiques!

Комедия «Эмиль», которая по справедливости не что иное есть, как сцена, продолженная без всяких причин и драматических правил, несмотря на некоторые изрядные места, не более стоила быть опубликованною.

Пастушеский роман «Алексис», невзирая на некоторую растяжку, мог бы быть оставлен при строгом выборе. Этот роман есть идиллия в прозе, смешанной со стихами. В нем проза имеет всю приятность и даже обильность, какую она должна иметь в сем роде — стихи суть из лучших в сем собрании.

Я скажу еще, что долгое письмо о Антильских островах и «Клементина», небольшой роман, которые критика могла бы пощадить, — лишние в сем собрании и очень приличны идиллиям, к которым бы все надлежало отнести.

Что ж касается до поэм, «Гнидского храма» и «Времен года», состоящих каждая в 4-х песнях, то, кроме некоторых, изредка попадающихся хороших стишков, нечего бы было жалеть, если б их исключили. Наконец следуют идиллии, о которых я уже довольно говорил. Гораздо бы было лучше, когда б прекрасные стансы на «Романвильский лесок» и на «Смерть собаки», гораздо уступающие в красках, помещены были после сих стихотворений, а не в начале первого тома, под именем *Posthumes*. Это место не прилично им ни по порядку материй, ни по порядку времени, которым только одним должно последовать в распределении частей, составляющих собрание.

Весь последний том посвящен *«Письмам двух любовников, живущих в Лионе»* — роман, в котором я заметил прекрасное письмо *о страстях*⁵. Оно двадцать девятое в сем сочинении.

Здесь я скажу мимоходом издателю, что он ошибается, говоря при сем случае в своем замечании о жизни и сочинениях Леонардовых, что будто начальную идею сего романа занял он из сомнительного предания об одном памятнике подле Лиона (гробница двух любовников). Он вывел здесь случившееся не очень давно и очень вероятное приключение одного лионского фехтмейстера⁶ (имя, сохраненное в романе), который застрелился с своею любовницею помощью двух пистолетов, которых курки опустил он посредством ленты, приведенной к его руке. Уверившись по расширению артерии в горле о несомнительности приближения смерти, захотел он в ревности своей, чтоб и любовница его умерла с ним вместе — и получил это от ее любви. Леонард, пользуясь сею развязкою, присоединил к ней обыкновенную интригу родителей, противившихся взаимной склонности. Может быть, была бы какая-нибудь лучшая материя в самом настоящем происшествии, о котором я говорил.

Приписывают Руссо сочинение эпитафии для гробницы сих двух любовников. Вот последний стих:

Le sentiment admire, et la raison se tait
Чувство удивляется, и разум молчит.

Предуведомление в начале сего издания заставляет читателя принять участие в особе самого Леонарда. Оно представляет его как человека, всегда преданного меланхолии, увеличивающейся горестями любви, от которой он стал жертвою преждевременной смерти — судьба не одного поэта! — И после сего верьте их счастью, полагаясь на их стихи и песни. Какая меланхолическая противоположность несчастной Леонардовой кончины и сих его стихов:

Dans la tombe noire,
Quand j'irai sans gloire
Joindre mes yeux,
Je veux qu'on publie:
Il n'eut point envie
D'illustrer sa vie;
Mais il fut heureux!

Когда без славы соединяюсь я в мрачном гробе с моими предками, тогда пусть скажут обо мне: он не желал учинить блистательною своей жизни — но был счастлив!

К НАДЕЖДЕ

Надежда, кроткая посланница небес! Тебя хочу я воспеть в восторге души своей. Услышь меня, подруга радости! И ангельская улыбка твоя да будет мне наградою.

Тобою все живут и дышат, о божественная! От венценосца до пастуха, от первого счастливца до последнего бедняка, отверженного целым миром, в тебе находят все отраду и улажнение!

Без тебя царь несчастен на троне своем и уныл среди пышности, среди блеску, его окружающего, среди хвалебных в честь ему восклицаний.

Без тебя герой хладеет и лишается бодрости своей. Ты одушевляешь его, летящего на поле брани; и среди окровавленных трупов, среди дымящихся развалин, среди куч пепельных ты показываешь ему растущие победные лавры.

Ты водишь плугом земледельца, в поте лица возделывающего поле свое, поддерживаешь ослабевающую руку его, предвещая ему щедрую награду за труд.

Ты управляешь кораблем мореходца, плывущего по зыбким хребтам непостоянной и грозной стихии в страны отдаленные, и веселишь сердце его, возвещая ему близкий предел его странствия, а там — несметные ожидающие его сокровища.

Ты радуешь нежную мать, неусыпно пекущуюся о детях своих. Ты говоришь ей, что они будут некогда украшением ее, подпорою, и извлекаешь из очей ее слезы восторга.

Ты утешаешь нищего, оставленного человечеством, издыхающего на голом камне. Ты снимаешь благодетельною рукою покров с томных очей его и показываешь ему в отдалении будущее — он взирает и видит могилу, конец своих страданий, за нею Бога, вечную радость, видит — и вооружается твердостью.

Ты озаряешь лучами отрады темницу узника, обремененного оковами и не обретающего сожаления в сердцах братьев своих. Ты рождаешь бодрость в унывающей душе его и льешь целительный бальзам в раны его сердца. Ты сопутствуешь ему до последней минуты горестного бытия и провождаешь его даже за пределы гроба.

О надежда, усладительница наших горестей! Сопутствуй мне на мрачном пути сей жизни; сопутствуй до того времени, когда ангел смерти, отворив таинственные врата вечности, примет меня из объятий твоих и на крыльях бессмертия понесет в лучший, блаженный мир.

МЫСЛИ НА КЛАДБИЩЕ

Ночь наступает. Молчание, одетое мраком, величественно несется на землю — все безмолвствует под кровом его ризы.

Луна, собеседница горестных, медленно подымлет бледное чело свое из-за отдаленных гор; слабо осребряет она кремнистые их вершины, и луч ее пробирается в дремлющий лес; кажется, тени, чада молчаливой ночи, блуждают в густоте его.

Серые облачка опускают задумчивый образ луны — тем она любезнее, тем привлекательнее!.. Трепещущий луч ее, преломляясь о них, тихо несется долу.

Здесь, в обители смерти*, в долине спокойствия, разливает он бледное сияние на могилы, скрывающие в недрах своем почивших, он мешается с юными чадами весны, дышащими на них благоуханием, и кажется, хочет проникнуть гробные камни, чтобы оживить тление.

Бьет полночь — это час смерти — луна на половине пути своего; она прямо над моею головою; свет ее ударяет в узкое окно развалившейся часовни и рисует решетки ее на руинах.

Облокотясь на падший столб, смотрю я вокруг себя — все молчит — почившие спят сном беспробудным. Гений уныния, в белой одежде, с поникшею главою, сидит на гробовых обломках и стонет о бренности всего подлунного.

Они спят — сии сыны тления! Они спят — и кто их пробудит?

Натура, одетая мраком, дремлет на лоне полуночи; все молчит; ни единый глас не вызывает к ним.

Все молчит в благоговейном ужасе. Пустынный ручей тихо струится по камням; соловей давно остановил громкие трели свои — все молчит!..

Но се грядет утро!.. С высоты отдаленных гор несется благотворное сияние его долу. Натура пробуждается: все творение возглашает гимны. Се грядет утро! Но они спят.

Они спят, не внемля гласу взывающего к ним дня; они спят — и кто их пробудит?

Спите, сыны тления! Еще не время — наступит утро бессмертия; жизненный луч его проникнет в сердце мира — и вы восстанете от сна своего.

Спите, сыны тления! Еще не время...

* На кладбище.

ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ

Последний луч зари угас на западе, и ночь на крыльях тишины спустилась на землю; луна в кротком сиянии катится по синему своду небес, и лучи ее осребряют верхи дубов.

Стою у чистого ручья; в струистом кристалле его трепещет образ луны; на берегу воздвигнут обелиск — смотрю и при свете луны вижу не изгладившуюся еще надпись: *Победителю*.

Победителю, сказал я, и грудь моя поколебалась от вздохов. Кто сей победитель? Конечно, убийца тысяч? И убийц называют победителями, сооружают им памятники для того, чтоб потомство прославляло имена их!

Нет! Пускай прославляет их безумец; но тот, кто имеет сердце, кто любит добродетель, тот с ужасом отвратит взор от гордого обелиска, вспомнив, сколько жертв пало прежде, нежели он воздвигнут.

Герои! Куда стремитесь вы с обнаженными мечами? За чем бежите? За славою? За призраком, которого вы не достигнете? Оглянитесь: следы ваши обагрены кровью; тела убиенных покрывают путь ваш; злоба бежит с вами, потрясая пламенником своим; природа унывает вокруг вас, и бедствия льются от руки вашей.

Где же сия слава, которой вы так алкали? Венец на главе вашей, пустота в сердце — вы достигнете предела жизни своей; глыба земли покроет прах ваш; рука времени низложит гордый обелиск, в честь вам воздвигнутый; и гром дел ваших, раздавшись, подобно эху, умолкнет.

Слеза благодарности на могилу — вот *венец славы*! Благословения несчастливца — вот *песнь торжественная*! Друг человечества — вот *истинный герой*, которого дела в *сердцах*, которого слава в *вечности*!

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	7
-----------------------	---

ПРОЗА 1797—1806 ГОДОВ

1797

Мысли при гробнице	23	433
------------------------------	----	-----

1798

Мир и война	25	435
Жизнь и источник	26	436
Речь на акте в Университетском благородном пансионе, 14 ноября 1798 г.	27	437

1799

Полные сочинения г. Леонарда, собранные и изданные Винцентом Кампеноном в 3 т. Париж, 1798	33	439
К надежде	40	442
Мысли на кладбище	41	443
Истинный герой	42	444

1800

Мальчик у ручья, или Постоянная любовь	43	445
--	----	-----

1801

Речи, произнесенные в Дружеском литературном обществе	210	459
〈О дружбе〉	210	461
О страстях	215	463
О счастье	217	465
Ильдегерда, норвежская королева. Героическая повесть	221	467
Вильгельм Тель, или Освобожденная Швейцария	296	470
Розальба. Сицилийская повесть	338	471

1803

Вадим Новгородский	346	473
Письмо французского путешественника	355	476

Из черновых и незавершенных рукописей

Чувства отца на гробе сына	359	479
Примеры слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским . . .	360	480
Избранные сочинения Жан-Жака Руссо. Перевод с французского. Том первый	392	519

ПРИЛОЖЕНИЯ

И. А. Айзикова. Проза В. А. Жуковского	415
Примечания к текстам	431
Условные сокращения	532